

Часть первая. На борту «Виргинии»

«Но умирает зерно, и из него произрастает колос. Так, на ниве, орошенной нашей кровью, Расцветет великое будущее...»

ЛУИЗА МИШЕЛЬ

Альбатросы впервые появились над «Виргинией», когда она подплывала к мысу Доброй Надежды. Эти морские птицы, огромные и белоснежные, пролетали над фрегатом, почти касаясь крыльями мачт, — словно приветствовали его узников.

В тот час на палубе, под охраной конвоя, гуляли осужденные коммунарки. Шестилетний сынишка мадам Леблан закричал:

— Мама! Мадемуазель Луиза! Смотрите, какие птицы!

Да, после нескольких недель пустоты и безмолвия океана это было красивое зрелище. По Луиза Мишель насторожилась: при появлении птиц матросов охватило странное возбуждение. Жадно следя за альбатросами, они насаживали на большие крючки куски мяса и рыбы. И вот один из матросов, мулат с желтым платком на шее, опередив остальных, швырнул в море крючок с куском мяса, конец рыболовного шнура он привязал к рее грот-мачты.

Луиза с тревогой наблюдала, еще не понимая, что происходит.

И вдруг пролетевший над фрегатом альбатрос, полусложив крылья, белой стрелой метнулся вниз и подхватил коснувшуюся воды добычу. Через секунду, взмыв вверх, огромная птица внезапно остановилась, словно ударившись грудью о невидимую преграду, и упала в море.

Радостно гогоча, мулат выволакивал жертву на борт. И только тут Луиза вспомнила парижских модниц, щеголявших на Елисейских полях и Больших бульварах в шляпках, украшенных белоснежными перьями. Так вот откуда такие перья!

Столпившись на корме, коммунарки с ужасом наблюдали за варварской охотой.

— Капитан Лонэ! Капитан Лонэ! — закричала Луиза и хотела бежать туда, где возлежал в шезлонге капитан «Виргинии».

Но конвоир сделал два стремительных шага и преградил Луизе дорогу, выставив перед ней ружье-шаспо с примкнутым штыком.

— Стой!

Зазвонил корабельный колокол.

— Кончай прогулку! Вниз! — скомандовал старший надзиратель.

Женщины медленно направились к люку, ведущему на пушечную палубу, а матросы, крича, продолжали свою жестокую охоту.

Оглянувшись, Луиза увидела, что мулат привязывал пойманного альбатроса за ноги к вантам грот-мачты, — так несчастной пленнице предстояло умереть. Луиза догадалась, что матрос не хочет сразу убить птицу, чтобы не запачкать кровью ни одно драгоценное перышко.

Спускаясь по крутому трапу, Луиза думала, что есть нечто общее в судьбе океанской красавицы птицы с ее собственной судьбой, с судьбой ее подруг, осужденных Версалем на пожизненное изгнание... Как мучительно выгибала шею повешенная вниз головой птица, как ей, наверно, хотелось взмыть в небо!

Пока «Виргиния» шла вдоль берегов Южной Африки и пока в пушечные амбразуры были видны парящие над океаном альбатросы, коммунары отказывались от прогулки на палубе. Смотреть на мучения птиц было невыносимо, а запретить страшную охоту капитан Лонэ отказался: он-де не может помешать матросам заработать лишнюю сотню франков...

Но это случилось позже, после того как «Виргиния» дважды пересекла Атлантику, на третьем месяце ее плавания.

А сначала...

Океан!

Когда я была маленькой, я так жалела, что не родилась мальчишкой! Я страстно мечтала о дальних и опасных путешествиях, мне хотелось стоять лицом к бурям, противопоставить необузданным стихиям мою человеческую силу!

И вот — океан передо мною. Правда, я вижу его из тюремной клетки через отверстие в борту военного фрегата, когда-то из этого отверстия высовывалось наружу дуло пушки.

В нашей женской клетке две такие амбразуры, под другой, в пяти шагах от меня, устроилась со своими малышами мадам Леблан. Рядом с ней — Натали Лемель, осунувшаяся и похудевшая до неузнаваемости, — так измучила ее морская болезнь... Сейчас океан спокоен, и она забылась тревожным сном — то и дело вздрагивает и вскрикивает, — видимо, снова переживает ужасы тюрем, через которые всем нам довелось пройти: Сатори, Шантье, Консьержери, Версаль, Оберив.

Океан спокоен — ослепительно синий, сверкающий. Ветер, еще недавно наполнявший паруса «Виргинии», стих, фрегат застыл посреди океана почти неподвижно. С верхней палубы доносятся сердитые голоса, — матросы и солдаты конвоя проклинают тропическую жару и штиль, обрекающий корабль на вынужденный дрейф.

Из случайно услышанных разговоров Луиза знает, что «Виргиния» — корабль старый, два года он простоял на приколе в гавани Ля-Рошель, разоруженный, без пушек и парусов. И лишь необходимость перевезти в Новую Каледонию тысячи осужденных коммунаров заставила правительство Тьера, а позднее Мак-Магона вспомнить об отслужившем срок корабле. На нижней, бывшей пушечной, палубе устроили клетки с железными решетками, оснастили корабль новыми парусами, укрепили на носу и корме по пушке — и отправили в далекое плавание. На «Виргинии» нет паровых машин, движение ей могут сообщить лишь паруса, при штиле она совершенно беспомощна.

Слышен самодовольный бас капитана Лонэ:

— Боюсь, лейтенант Аллис, нам предстоит долгое путешествие! Вместо трех месяцев мы протащимся до Каледонии минимум полгода, будь я проклят! Адмирала Домпьер д'Орнуа беспокоят слухи о волнениях в Испании, в Картахене. Там инсургентам удалось овладеть частью военного флота, как бы они не перехватили нас...

Голоса удаляются, затихают. Слышен звонкий плеск, — матросы на палубе окатывают друг друга водой, так легче переносить зной. А здесь, в клетках, воздух невыносимо влажный и душный.

Глазам больно смотреть на сверкающий, как расплавленное серебро, океан. С невольным вздохом Луиза опускается на жесткий соломенный матрац и, откинув голову, прислоняется к стене. После слепящего сверкания океана в клетке ничего не разглядеть, лишь угадываются смутные очертания тел, — истомленные духотой узницы неподвижно застыли на своих местах.

Слышны размеренные шаги, — часовой с шаспо на плече ходит между клетками; едва доносятся голоса из мужских отделений палубы-тюрьмы; звучно падают в тишину медные капли, — судовой колокол отбивает получасовые склянки...

Глаза постепенно привыкают к полутьме, и Луиза может рассмотреть в клетке напротив, через коридор, темноволосую голову Анри Рошфора, — он пишет, положив на колени книгу.

Рошфора держат в клетке одного, считая особенно опасным, но капитан Лонэ благоволит к журналисту, вчера он пообещал переселить к нему кого-нибудь по выбору самого Рошфора. Луиза слышала, что тот назвал известные ей по Парижу имена Анри Пласа и Анри Мессаже. Сегодня, кажется, и состоится переселение.

Незаметно к Луизе подкрадывается дремота, смыкаются веки.

И снится ей то, что было давным-давно. Последние два с лишним года — в парижских тюрьмах, на этапах и здесь, на «Виргинии», — ей снились только баррикады, перестрелки,

рушащиеся стены зданий, дымы пожаров, столбы пламени над Тюильри и Ратушей, смерть товарищей, — даже во сне все пережитое не покидает, не отступает...

А сейчас снится далекое-далекое... Обветшавший замок во Вронкуре, красная черепица крыш под зеленью платанов, ее комнатка с видом на поля. И старый Шарль Демаи, мэр общины Вронкур, опирающийся на инкрустированную перламутром трость, седой и величественный, с неизменным томиком Вольтера в руке...

Шарль Демаи имел основания полагать, что в появлении на свет маленькой Луизы, дочери его незамужней служанки, повинен его сын, ловелас и кутила Лоран, но самой Луизе было безразлично, кого должно считать ее отцом, ей было достаточно любви дедушки Шарля.

Ей снится, будто они двое — старый и малая, — взявшись за руки, идут вдоль берега речки, на которой плывет длинная желтая лодка и колышутся зеленые отражения прибрежных ив.

Шарль Демаи был умным и отзывчивым человеком. К сожалению, смерть унесла его, когда Луиза из ребенка только превращалась в девушку. Она осталась на попечении бабушки Шарлотты, вдовы Демаи, которая тоже очень любила девочку. Но вернувшись во Вронкур после смерти Шарлотты молодые наследники выжили Марианну Мишель и ее дочь из замка: жена Лорана не могла примириться с тем, что покойник Шарль оставил в наследство Луизе сорок тысяч франков и клочок земли.

Во сне Луиза слышит надтреснутый, звенящий от возбуждения голос: старый Шарль Демаи рассказывает ей о Великой французской революции, в те годы он, молодой и отважный, работал в Комитете общественного спасения...

...И еще снится ей Виктор Гюго, побывавший в гостях у Демаи. Будто бы писатель расхаживает по гостиной — от пылающего камина к широкому окну, за которым террасами уходит вниз аллея столетних платанов, рассматривает коллекцию старинных ружей. И старый Демаи, счастливый посещением знаменитого друга, следит за гостем влюбленными глазами. У ног деда, положив морду на скрещенные лапы, разлеглась любимица Луизы, испанская овчарка Медор...

Будит Луизу железный дребезг замка: тюремный конвоир и одна из сестер-монахинь, надзирающих за узницами «Виргинии», чопорная сестра Бетти, отпирают дверь в клетку — время прогулки.

Сынишка мадам Леблан, светловолосый, синеглазый Пьер, возбужденно смеется. Он первым взбирается по трапу на палубу, топчет по ней босыми ножонками, и Луиза замечает, что даже на самые хмурые лица матросов и тюремщиков ложится отсвет детской улыбки.

До чего же ее жалко, бедняжку Леблан! С каким горьким, трагическим выражением она смотрит на Пьера и крошку Жаннет. У Пьера все же были в детстве светлые дни, были какие-то радости, а крошечная Жаннет родилась в тюрьме, в зловонной камере, на грязной соломенной подстилке. После поражения Коммуны Леблан, пытаясь спасти мужа от ареста, спрятала его, но кто-то из соседей предал их, его схватили и бросили в застенки форта Келерн, а ее арестовали, несмотря на беременность. Позже она предстала перед судьями

Версалья с новорожденной на руках.

Малыша Пьера оставить в Париже тоже оказалось невозможно, — полицейские ищeyки вылавливали детей коммунаров и отправляли в так называемые исправительные заведения, режим которых, говорят, немногим отличается от режима тюрем...

Текут мысли — непрерывный, нескончаемый поток...

Проходя мимо мужских отделений, Луиза обменивается приветствиями со знакомыми коммунарами, хотя это и запрещено, отмечает, как тесно в мужских камерах: на «Виргинии» больше ста двадцати коммунаров-мужчин! А вспомни — сколько осужденных перевезли в Кайенну и Каледонию «Даная», «Воительница», «Гаронна», «Вар», «Сивилла», «Орна», «Кальвадос», «Семирамида» — ведь каждый из кораблей совершил по три-четыре рейса! Начиная с ноября 1871 года один за другим отплывали они от причалов Франции.

Палуба, только что политая водой, дымится горячим паром. Солнце перевалило зенит, все кругом раскалено, и даже под тентом, натянутым над кормой, нет прохлады.

В Ля-Рошели, перед отправкой в далекий путь, женщинам выдали взамен истрепанной собственной одежды казенную: по темной юбке и синему платью и еще по чепчику. Вытаскивая эти вещи из мешка, Луиза воскликнула: «Посмотрите, какой прекрасный подарок прислал мне президент Мак-Магон!»

Сейчас женщины прогуливаются по палубе, неразлично одинаковые, похожие на темные тени. У всех худые, нездорово бледные лица, погасшие глаза и увядшие губы. А ведь еще недавно все были привлекательны и красивы — Мари Маньян и Элиза Деги, Аделаида Жермэн и Адель Дефоссе, Мари Брум и бедняжка Леблан, да и все другие...

Капитан Лонэ, расстегнув на груди белую рубашку, полулежит в полосатом шезлонге под тентом на носу корабля и курит сигару, синеватый дымок вьется над его головой. Он самонадеян и самодоволен, капитан Лонэ. Однажды — Луиза слышала — он со смешком удовлетворения сказал Рошфору, к клетке которого нередко приходит поболтать:

— Какие странные бывают совпадения, черт меня побери! Генерал де Лонэ в дни штурма Бастилии был ее комендантом, а мне, тоже Лонэ, препоручено стеречь вас, мятежников, пытавшихся сокрушить все Бастилии Франции! Хе-хе...

Рошфор в ответ расхохотался:

— О! Между вами, мосье Лонэ, и тем, давним де Лонэ есть существенная разница!

— Какая же? — насторожился капитан.

— Голову коменданта Бастилии отрубили и, нацепив ее на пику, разгуливали с нею по Парижу. А ваша голова, насколько я могу судить, прекрасно покоится на месте!

Капитан Лонэ покрутил шеей, словно испытывая ее прочность.

— Н-да! Моя еще долго продержится, мосье Рошфор!

— До следующей революции? — прищурился журналист...

Сейчас Луиза с горечью улыбнулась той шутке: когда-то она грядет, новая Французская революция, новая Коммуна?!

Неподалеку от капитана, опершись плечом о фок-мачту, стоит, тоже с сигарой во рту, судовой врач, полный, рыхловатый человек с добрыми и умными глазами.

Луиза не первый раз думает, что доктору Перлие должна быть совсем не по душе работа в плавучей тюрьме. Что же удерживает его на борту «Виргинии», где он вынужден не столько врачевать, сколько наблюдать страдания? А может быть, он пытается облегчить своим участием тяжелую долю изгнанников?

Недели две назад, когда «Виргинию» изрядно трепало на штормовой волне, доктор Перлие ежедневно навещал Рошфора, страдавшего от морской болезни. Рошфор целую неделю не прикасался к еде, скорчившись лежал на полу своей клетки. Тогда доктор настаивал на переводе Рошфора в одну из мичманских кают. Но капитан Лонэ побоялся: а вдруг Рошфор убежит, — кому, как не капитану, отвечать?! Доктор Перлие язвительно усмехнулся: «Да куда убежит?! Океан же кругом».

Но капитан Лонэ остался непреклонным. Он еще не забыл, как на выходе из Бискайского залива, на траверзе мыса Ортегаль, к «Виргинии» дважды пыталось приблизиться неопознанное, без государственного флага на мачтах, судно, — вполне возможно, что кто-то хотел освободить осужденных коммунаров. Нет, капитан Лонэ не может ставить себя под удар! Пусть мятежный журналист, попортивший столько крови бывшему императору и его царственному семейству, остается в клетке!..

Обводя медленным взглядом пустынный горизонт океана, Луиза вспоминает то судно. Капитан Лонэ распорядился тогда дать в его сторону два выстрела, и оно, подрейфовав вдалеке, повернуло к берегам Испании. О, с какой тоской провожала Луиза исчезающий за горизонтом парус!

Женщины ходят по палубе, только Леблан устроилась на бухте каната, держа Жаннет на коленях.

А возле входа в камбуз в тени сидят жены тюремных надзирателей, их цветастые платья и косынки — разительный контраст с однотонной одеждой узниц. Поначалу Луиза поражалась: как можно не только стать женой тюремщика, но и отправиться с ним в далекий путь, чтобы оказаться в каторжной Каледонии? И лишь позже, из случайно услышанных фраз поняла, в чем дело...

Оказывается, когда во Франции набирали добровольцев-тюремщиков, желавших сопровождать этап в Каледонию и остаться там на службе, было объявлено, что семейные надзиратели получают на острове помимо жалованья наделы земли. Многие узнали об этом в последние дни, уже в Ля-Рошели, и тут же бросились бегать по портовым кабачкам, искать

себе «спутниц жизни». Так кое-кто из них обзавелся «семьей».

Для большинства этих женщин Луиза и ее подруги — преступницы, «петролейщицы», «керосинщицы», поджигательницы Парижа! Ах, как иногда хочется подойти к ним и крикнуть: «Глупые! Ведь Коммуна боролась и за вас, за то, чтобы вам не приходилось продавать себя по портовым кабакам! Вы — слепые, вы — больше жертвы, чем мы, осужденные на вечное изгнание!..» Но к ним нельзя подойти: начальство боится «тлетворного» влияния Коммуны.

Полуголые, загорелые до черноты матросы сидят вдоль бортов и плотоядно пересмеиваются, провожая взглядами Викторину Горже, креолку с пронзительными, карими глазами. Она чувствует мужские взгляды и еще выше запрокидывает гордую голову, она не унывает! Вчера со смехом заявила монахине Бетти: «О да, можете мне, сестрица, поверить, сослали меня не за то, что я перебирала жемчуг! Всласть настрелялась я из шаспо в версальских негодяев!»

Луиза внимательно присматривается к спутницам. Да, никто из них не плачется на судьбу. Лишь госпожа Леруа, красивая блондинка с бегающими глазами, вызывает осуждение Луизы. Каждое утро она в сопровождении сестер-монахинь отправляется на половину команды, где судовой кюре служит мессу. Луиза подозревает, что Леруа делает это отнюдь не из религиозных побуждений, а просто подлизывается к монахиням.

Ага, вон выползает на палубу и преподобный служитель господа бога со своими неизменными атрибутами — Библией и янтарными четками на пухлой, волосатой руке. О, как я ненавижу попов, притворяющихся, будто они и в самом деле верят в несуществующего бога! Ханжи, лицемеры, иезуиты! Когда на улице дю Репо расстреливали федератов, какой-то священник кричал, потрясая зонтиком: «Расстреляйте их всех, господь там разберет, кто виноват, кто прав!»

С презрительной усмешкой Луиза вспоминает, как через день после их вступления на палубу «Виргинии» кюре пытался всучить ей молитвенник в сафьяновом переплете, она тут же, при нем, швырнула книжонку за борт, а ему сказала: «Я не нуждаюсь в заступничестве церкви, служители которой дежурят у каждого эшафота! Я видела слишком много святых отцов, благословляющих убийц!»

А чего ей бояться? Что они могут еще с ней сделать? Они отняли у нее Францию, свободу, Теофиля! Нет уж, увольте от душеспасительных бесед, господин кюре! Вы помогли Версалью отнять у меня многое, но не сможете лишить меня человеческого достоинства и гордости!

Напрягая память, Луиза старается восстановить слова статьи в одной из первых газет Коммуны. «Пусть Коммуна не заблуждается, — говорилось там. — С того момента, как она порвала с церковью, против Коммуны нет клеветы слишком коварной, нет лжи слишком ядовитой, нет злобы слишком жестокой».

Кажется, так писал в одном из своих памфлетов знаменитый географ и коммунары Элизе Реклю. Интересно, где он теперь? В какой тюрьме, на какой каторге?..

Нет, она не может спокойно смотреть в деланно-смирненное лицо корабельного кюре, не может видеть его пухлые ручки, неспешно перебирающие янтарные четки.

И лишь одно исключение делала Луиза — ее ненависть не распространялась на аббата тюремной церкви в Версале. Она бесконечно благодарна отцу Фоллей за те записки, которые аббат тайком передавал ей от Теофиля и ему от нее. Это было единственное окошко, через которое она могла тогда дышать!

Ее приводит в себя звон корабельного колокола.

Загорелый матрос два раза бьет в колокол, — с начала прогулки прошло полчаса, нужно возвращаться в клетку.

Сейчас выйдут гулять мужчины, их выводят партиями по пятнадцать человек, — страшатся восстания, бунта, ведь и в самом деле: осужденным на вечную ссылку и каторгу терять и бояться нечего.

Вон и часовые, до сих пор спокойно сидевшие на подножиях якорных лебедек, очнулись от полусонного состояния, заботливо оглядывают свои шаспо с примкнутыми штыками.

Брось, Луиза, последний взгляд на залитую солнечным светом палубу, на бессильно обвисшие паруса! Как, однако, быстро пролетают полчаса, отпущенные нам капитаном Лонэ! Лонэ все же добрее, человечнее других, командующих военными судами, перевозящими осужденных коммунаров в Кайенну, Ламбессу и Новую Каледонию.

Еще в Сатори и в Версальской тюрьме Луиза слышала от вновь арестованных подробности о рейсах «Данаи» и «Семирамиды». Командир «Данаи» поместил гарибальдийца Амилькара Чиприани, адъютанта Гюстава Флуранса, в трюм под паровыми машинами корабля В карцере Чиприани стояла такая жара, что несчастный итальянец сходил с ума. А на «Семирамиде» двух дерзких ссыльных капитан распорядился привязать к горячим котлам, оба умерли от ожогов. Всего на «Семирамиде» за один рейс умерло от истощения и болезней около сорока человек. На фрегате «Орна», когда он бросил якорь на рейде Мельбурна, из шестисот осужденных половина болела цингой. Узнав о страшном человеческом грузе «Орны», жители Мельбурна прямо на причале собрали деньги, чтобы узники могли купить еды и фруктов. Но капитан отказался принять и передать заключенным дар мельбурнцев...

Нет, Луиза, что ни говори, а вам, на «Виргинии», повезло — ни карцеров, ни наручников, ни раскаленного парового котла, — спасибо капитану Лонэ!

Воспоминания, воспоминания, воспоминания...

Плавание на «Виргинии» так удручающе монотонно, что память непрестанно возвращает к пережитому. Седан, свержение ненавистной Империи, пруссаки в островерхих касках на Елисейских полях, семьдесят два дня Коммуны, кровавая майская неделя, расстрелы, мрачные камеры тюрем.

Все это проходит передо мной, словно я живу второй раз! Нескончаемой чередой возникают перед глазами дорогие лица — Теофиль, Мари, Рауль, Флуранс, Делеклюз! И чаще других — лицо моей старенькой мамы Марианны, которой я, сама того не желая, причинила столько горя!.. Я зову маму Марианной с юности — по имени истерзанной республиканской Франции, хотя в ее метрических записях значится: Мари-Анна.

Пока версальские палачи гноили нас во всевозможных казематах, мама стала совсем седая и руки у нее при свиданиях так дрожали! Но она однажды сказала мне, что гордится тем, что отважные парижане прозвали ее дочь Красной девой Монмартра.

С ужасом думаю, что в свои преклонные годы мама могла бы сейчас плыть вместе со мной на «Виргинии», в зарешеченной звериной клетке. Ведь после последнего боя на Пер-Лашез, когда я, переодевшись, тайком пробралась домой, на улицу Удо, мамы там уже не было!

Потрясенная предчувствием, я выбежала во двор, и там консьержка сообщила мне, что утром нагрянули версальцы и, не обнаружив дома меня, увели мать.

Смутно, словно кошмарный сон, припоминаю, как бегала по горбатым узеньким улочкам Монмартра, стараясь у кого-нибудь узнать, куда увели маму! О, как подозрительно косились на меня вылезшие из своих щелей буржуа с «патриотическими» трехцветными повязками на шляпах и рукавах.

Я боялась, что не найду маму, что палачи расстреляли ее вместо меня. Но счастье тогда не полностью отвернулось от нас, я разыскала ее во дворе 37-го бастиона...

Как давно и как недавно это было, как живы передо мной ее горестные глаза.

«Виргиния» ушла от берегов Франции 10 августа 1873 года.

Обычно первой остановкой военных кораблей, перевозивших осужденных коммунаров из Франции в Новую Каледонию, был порт Дакар, столица французской колонии Сенегал на крайнем западе Африканского материка. Но за неделю до отплытия «Виргинии» в Париж сообщили о событиях в испанском порту Картахене: восставшие против короля инсургенты захватили военные суда. Возникла опасность, что они выйдут в Атлантический океан и на пути к Дакару попытаются перехватить «Виргинию», чтобы освободить французских единомышленников. Именно поэтому адмирал Домпьер д'Орнуа заранее приказал капитану Лонэ изменить обычный курс и, сделав остановку на Канарских островах, плыть к берегам Южной Америки и уже оттуда повернуть к мысу Доброй Надежды...

И вот — Канарские острова. Звучит с капитанского мостика команда: «Кливера и марселя убрать!» Звенят, падая за борт, якорные цепи, жадно льнут к пушечным люкам коммунары и коммунарки. Месячное плавание так утомило всех, синее и беспредельное однообразие океана так наскучило глазу! Даже тоскливый крик морских чаек, встретивших фрегат на подходе к островам, отраден для слуха.

Луиза держит на коленях маленького Пьера. Сияющими глазами малыш разглядывает опоясанные зеленью, сбегаящие к пенной черте прибоя белые домики, зеленые веерные

пальмы, крепостные стены цитадели, стерегущей остров, и за ней — вонзающийся в небо остроконечный пик Тенериф. Он видит лодки, спешащие от берега к кораблю, — полуголые чернокожие люди стоя орудут веслами и что-то кричат на непонятном языке.

Вот они подплывают ближе, видно, что лодки нагружены чем-то ярко-желтым, оранжевым, красным, зеленым. Это — апельсины, дыни, бананы, ананасы.

Туземцы — сильные, рослые — плавают на лодочках вдоль бортов «Виргинии», весело крича, передают матросам на трапы бакборта и штирборта корзины с фруктами, с обезьяньей ловкостью подхватывают монеты.

Да, капитан Лонэ разрешает осужденным купить апельсинов и бананов, но на палубу никого не выпускают: рядом берег и слишком много кругом лодок! Мало ли что может произойти! Тропические яства покупают для заключенных монахини и жены тюремных надзирателей.

Тем временем с корабля спускают капитанскую шлюпку, и важный Лонэ в белом мундире с золотым шитьем отплывает на берег — представиться губернатору и договориться о пополнении запасов продуктов и пресной воды.

Конвоиры-тюремщики патрулируют по бортам корабля, готовые стрелять по любой голове, высунувшейся из пушечной амбразуры. Но если бы кто-нибудь и попытался бежать и доплыл до берега, это не принесло бы ему свободы, — Канарские острова принадлежат испанской короне, и полицейские чиновники, поймав беглеца, тут же передали бы его слугам Мак-Магона.

Да и море шутить не любит! Вчера, когда «Виргиния» приближалась к острову Пальма, матросы закинули в море сети и вытащили не меньше ста килограммов рыбы. В сетях оказалась акула-молот — страшная, чудовищная на вид: голова и в самом деле напоминала молот, по сторонам — два отростка и на их концах холодные и яростные глаза. Головой-молотом акула таранит жертву, а затем погружается с ней в глубину и там пожирает.

При виде акулы капитан Лонэ чрезвычайно обрадовался, тотчас же приказал снести морское чудовище вниз, бросить перед клетками изгнанников — пусть мечтающие о побеге увидят, кто ожидает смельчака, дерзнувшего довериться морю!

И сам капитан не поленился спуститься — на акулу он смотрел почти с нежностью — и пояснить Анри Рошфору, что такие «голубушки» достигают длины четырех-пяти метров. И встреча с ними не сулит добра!..

Но ничего особенного на «Виргинии» в гавани Лас-Пальмас не происходит. Капитан Лонэ возвращается с приема у губернатора веселый и порядком хмельной. Все идет великолепно, завтра «Виргиния» войдет на внутренний рейд, ошвартуется у грузочного причала и в ее трюмы погрузят продукты, а в баки дольют пресной воды.

Для узников — неожиданно тяжелый день: пока идет погрузка, пушечные амбразуры наглухо закрыты плотными деревянными щитами. Всего в десяти — двадцати метрах за бортом фрегата шумит жизнь, звучат гортанные голоса, режут какие-то животные; железно

грохочут перекатываемые по трапам бочки, кто-то смеется и поет на берегу.

Анри Рошфор и его товарищи по клетке — Плас и Мессаже — передают женщинам через стражу большую корзину ананасов и дынь, — сегодня все сыты.

Луиза грустно ежится в своем уголке, привалившись спиной к стене, малыш Пьер спит, положив голову ей на колени. Из мужских клеток доносится пение: чтобы заглушить тоску по воле, коммунары негромко поют «Марсельезу» и любимую Парижем песенку о красных гвоздиках — цветах революции.

Медно звенит колокол. Четыре двойных удара, значит — четыре часа пополудни. Так и не удалось сегодня глотнуть свежего воздуха, полюбоваться синевой неба, зелеными кронами пальм на берегу.

Но что это? Веселые голоса и грузные шаги по трапу? Сам капитан Лонэ, все еще в парадном белоснежном мундире, спускается в нашу плавучую тюрьму, его сопровождает лейтенант Аллис. У капитана довольный, добродушный вид, глазки живо и ярко светятся, он, видимо, счастлив, что трудный рейс проходит без осложнений и неприятностей.

Как и обычно, капитан останавливается у клетки Рошфора. Еще в день отплытия «Виргинии» Луиза поняла, что в пути знаменитый журналист будет пользоваться привилегиями, поняла потому, что лишь к нему одному были допущены для прощания дети — двое сыновей-мальчишек и семнадцатилетняя дочь. Детей Рошфора сопровождали депутат Эдмонд Адам и его жена Жюльет Адам, основательница и редактор «Нового обозрения», представительная дама: салон которой посещают все знаменитости Парижа. Именно она намекнула капитану Лонэ, что ссылка Рошфора — пустая формальность, в столице Новой Каледонии, в городе Нумее, капитан Лонэ сразу же по прибытии найдет телеграмму о возвращении Рошфора на родину. Вот почему капитан Лонэ так благосклонен к бывшему редактору «Фонаря» и «Марсельезы». В тот день госпожа Адам передала Рошфору деньги и кипу газет и журналов.

Капитан Лонэ стоит спиной к женской клетке, Луиза видит мощный затылок и тугие красные складки шеи. Лонэ снисходительно поясняет Рошфору:

— Дисциплина — основа порядка, мосье Рошфор! Завтра выйдем в плавание, и вы снова будете полчаса гулять на палубе. А пока придется примириться. — Он разводит руками, но тут же продолжает: — Однако, мосье Рошфор, я понимаю тягостность подобного путешествия. И вот, посоветовавшись с лейтенантом Аллисом, я готов...

С величественным видом капитан Лонэ поворачивается к женской клетке, покачивающийся фонарь освещает его красное лицо.

— Я разрешаю прогулку женщинам! — великодушно заявляет Лонэ. — Мадемуазель Мишель! Как старосте женского отделения...

Луиза вскакивает и, не дав капитану закончить, перебивает:

— Мосье Лонэ! Если мужчины, наши товарищи по баррикадам, не получат прогулки на палубе, мы отказываемся от нее! Нам не нужны поблажки! Мы полностью разделим с мужчинами все тяготы, на которые нас обрек проклятый Версаль!

Луиза стоит к решетке вплотную, темные глаза горят. Голос звучит решительно и громко, он слышен во всех мужских клетках. И сотни ладоней аплодируют ей.

— Bravo, Красная дева! Bravo! Ты — настоящий товарищ!

Капитан Лонэ обиженно пожимает плечами. Он никак не предполагал, что «милость», оказанная узникам «Виргинии», будет так дерзко отринута.

— Г-м-м... г-мм... в таком случае... гм-м... — нечленораздельно мычит Лонэ, стараясь, однако, обрести обычное достоинство. — Ну-с, как угодно! Я полагал, что хотя бы ради детей мадам Леблан...

Леблан встает у решетки рядом с Луизой.

— Мои дети не нуждаются в подачках версальских прислужников, капитан! — резко заявляет она.

— Н-да... — раздраженно бормочет Лонэ и, пожав плечами, поворачивается к Рошфору: — Однако неистребим, кажется, бунтарский дух Коммуны, мосье Рошфор, а?.. Но я, собственно, спустился сюда отнюдь не затем, чтобы препираться. Да! Я хочу сообщить, что почты для вас в Лас-Пальмасе нет. Видимо, полагая, что «Виргиния», как и другие суда подобного назначения, посетит Дакар, письма и телеграммы вам посланы туда. Но...

— А когда прибудем в Дакар, мосье Лонэ? — нетерпеливо перебивает Рошфор.

— Мы не пойдем в Дакар! — голос капитана обретает начальственную непреклонность. — Это приказ адмирала. Завтра «Виргиния» возьмет курс на Санта-Катарину, к берегам Бразилии.

— Но, мосье Лонэ!..

— Ни обсуждению, ни тем более изменению приказ не подлежит, мосье Рошфор! Однако, желая утешить вас, презентую вам французские газеты, кои удалось купить в Лас-Пальмасе...

Машинально Рошфор принимает у Лонэ пачку газет; он расстроен, как и другие осужденные. Огорчена и Луиза, — так надеялась узнать о маме, получить весточку от сестры Теофиля.

Капитан Лонэ хочет уйти, но Рошфор останавливает его:

— У меня просьба, мосье Лонэ! Не разрешите ли вы сынишке мадам Леблан проводить часть дня в нашей камере? Посмотрите, какая у женщин теснота. А ведь ребенку необходимо

двигаться.

Капитан соглашается.

Так шестилетний Пьер становится тайным почтальоном между мужским и женским «острогами», между Луизой Мишель и Анри Рошфором. А ведь им предстоит еще далеко плыть — «Виргиния» дважды пересечет Атлантику, спустится к льдам Антарктиды, проплывет по югу Индийского и закончит четырехмесячное плавание в водах Кораллового моря, на западе Тихого, или Великого, океана. Записки и газеты, которые будет передавать из камеры в камеру маленький почтальон, помогут осужденным легче перенести монотонность жизни в плавучей тюрьме.

И еще одна трудная и душная ночь. Она тем горше, что с наступлением темноты, когда затихает шум работы в порту, так отчетливы в ночной тишине и поющие вдали голоса, и смех, и звон гитарных струн. Да, свободные люди на берегу смеются, поют, любят друг друга.

Почти до утра Луиза не может уснуть. Не снят и многие другие — ворочаются, стонут, бормочут в полусне.

Рано утром, когда поднимается восточный ветер, на капитанском мостике «Виргинии» раздаются слова команды, слышен топот матросских башмаков, дребезг якорных цепей и скрип ворота, вытаскивающего якоря. А через полчаса качка усиливается, — фрегат вышел из гавани в открытое море. Видимо, сейчас откроют пушечные люки. Да, открывают! И слепящий дневной свет, словно настоящий на расплавленном золоте, сияющим потоком врывается в духоту клеток.

И снова маленький Пьер сидит на коленях у Луизы и с недетской тоской во взгляде прощается с уходящими за горизонт зелеными островами. Теперь долгие, долгие недели не будет вокруг «Виргинии» ничего, кроме синей пустыни океана.

Как и всегда по утрам, монахини сопровождают узниц в умывальню, где они могут ополоснуть лицо и руки — одна из небольших радостей, которые предоставлены осужденным на корабле. Потом завтрак: кусок вареной рыбы, сухарь, кружка жидкого кофе и, уже сверх тюремного рациона, ломоть ароматной, сочной дыни, тающей во рту и вкусом напоминающей липовый мед.

Вчерашняя песня коммунаров о красных гвоздиках напомнила Луизе стихотворение, сочиненное ею четвертого сентября в день провозглашения Республики, после седанской катастрофы. И она записывает его на клочке бумаги:

“ Империи пришел конец! Напрасно
Тиран безумствовал, воинствен и жесток, —
Уже вокруг гремела «Марсельеза»,
И красным заревом пылал восток.
У каждого из нас виднелись на груди

Гвоздики красные. Цветите пышно снова!
Ведь если мы падем, то дети победят!
Украсьте грудь потомства молодого...

После завтрака часовой переводит малыша Пьера в «острог» Рошфора. В худенькой ладошке мальчугана зажата записка Луизы. Она пересылает товарищу свое стихотворение.

Пьера в клетке Рошфора встречают восторженно: почти у всех узников остались в Париже сыновья, малыш напоминает о них. Когда «Виргиния» бросит якоря у берегов Новой Каледонии, между осужденными и их детьми будет больше семи тысяч миль!

«Виргиния» плывет и плывет, а я то люблюсь океаном, то перечитываю переданные мне Рошфором вырезки из газет — перелистываю странички истории...

...Я люблю людей, мне до боли в сердце жалко тех, кто несчастен. Люблю кошек, собак, птиц, лошадей, люблю все живое. Не зря же на улице Удо меня прозвали «кошачьей матерью».

Но, должна признаться, самыми сильными чувствами, обуревавшими меня всю мою сознательную жизнь, были презрение и ненависть. Да, ненависть! Ненависть к узурпатору, терзавшему Францию два долгих десятилетия, ненависть к его камарилье — к упитанным генералам и вельможам в раззолоченных мундирах, украшенных сверкающими звездами и орденами, ко всяким тьерам, мак-магонам, галифе, к попам, осеняющим насилие именем бога, вроде его преосвященства монсеньора Дарбуа, архиепископа Парижа. Мне никогда не забыть, как негодовал Теофиль Ферре, когда правительство Тьера отказалось обменять Луи Огюста Бланки, томившегося в тюрьме Фижак, на арестованных Коммуной в качестве заложников монсеньора Жоржа Дарбуа и семьдесят четыре других врагов революции. Подумать только, «вечный узник», «вечный инсургент» Огюст Бланки, приговоренный к смерти, просидел по тюрьмам тридцать семь лет! А он был так нужен, так необходим Коммуне в дни ее становления и борьбы! На предложение Коммуны Тьер воскликнул: «Ха! Этот Бланки стоит целого армейского корпуса! Освободить Бланки — дать революции голову!»

Но я думала о своей ненависти. Как родилась, как окрепла, как закалилась во мне эта ненависть? Отвечая, я, конечно, не могу не вспомнить снова моего дорогого деда Шарля. Вспоминаю двор замка во Вронкуре, где я, кузен Жюль и другие мои ровесники и ровесницы играли «в революцию». За колодцем сооружали из досок и старых ящиков некое подобие эшафота и один за другим гордо поднимались на него, — ведь из рассказов деда мы знали, что все революции и древнего и нового мира неизбежно завершались казнями смельчаков. Да, мы «умирали» за нашу придуманную революцию, а дедушка Шарль, единственный зритель, задумчиво наблюдал за нами...

Позже я научила петь «Марсельезу» своих школьниц, вместо обязательной молитвы мы начинали и завершали день пением гимна революции, научила их ненависти ко всему злому и подлому. Однажды в церкви деревни Оделонкур во время провозглашения кюре здравицы в честь Луи Наполеона, следуя моему примеру, все ученицы громко застучали по каменному

полу подошвами деревянных сабо и вместе со мной покинули церковь.

Какими изумленными взглядами провожали нас благочестивые прихожане и сам кюре: неслыханная дерзость — осмелиться открыто выражать неприязнь к императору!

То, что я когда-нибудь уйду на каторгу, мне предрекал и префект Шомона, к которому меня вызвали для очередного внушения: в одном из моих фельетонов цензура усмотрела оскорбление Его Величества. А я и не пыталась скрыть, кого имела в виду, описывая римского тирана Домициана. Однако в тот раз все завершилось благополучно — мне кажется, лишь потому, что префект помнил покойного Шарля Демаи и уважал его. Но он предупредил меня: «В другой раз, боюсь, я не смогу помочь вам, мадемуазель Мишель, и вы отправитесь в Кайенну!» — «Ну что ж, — улыбнулась я в ответ. — Я открою там частную школу!» Да, частную. Потому что преподавать в казенных школах я больше не желаю по той причине, что, поступая на государственную службу, должна присягать узурпатору. Нет уж, увольте! Лучше я в день его кровавого воцарения пошлю ему обличительные стихи!

Да, годы шли, а моя ненависть к императору-узурпатору не убывала, а росла и росла. Я ненавидела все связанное с усатым Баденге¹, которого в народе втайне называли «Быком», ненавидела первую даму Империи, бывшую «мадемуазель Монтижо»², ненавидела их отпрыска, маленького Баденгетика, — в припадке отцовской нежности папаша величал его Наполеоном Четвертым!

...Океан успокаивает. Может быть, потому, что его жемчужно-голубая бескрайность представляется вечной по сравнению с человеческой жизнью. Мы страдаем и радуемся, боремся и умираем, а океан плещется и плещется миллионы лет...

Еще со времен Сатори, моей первой тюрьмы, у меня выработалась привычка отмечать наступление нового дня.

Чаще всего я делала на стене, где-нибудь в укромном уголке, царапины, выделяя среди них крестиками воскресенья и дни свиданий с мамой и Мари Ферре, сестрой Теофиля. Сколько таких царапин оставила я на стенах камер Сатори, Версаля, Оберива, проведя в них около восьмисот дней!

А теперь я карандашной черточкой отмечаю на борту корабля каждый восход солнца. Крестиков нет, ибо нет в нашей плавучей темнице ни свиданий, ни воскресений. Правда, когда «Виргиния» стояла в гавани Лас-Пальмас, я подчеркнула особым значком два дня.

И вот, насчитав на борту почти пять десятков отметин, я могу снова перекрестить последнюю из них: на горизонте узкой синеватой полоской обозначился берег.

— Земля! Земля! Америка! — пьяными от радости голосами кричат на палубе матросы. — Санта-Катарина!

Мы прильнули к пушечным люкам, плотно прижавшись друг к другу. Никогда не думала, что так сильно может взволновать вид приближающейся чужой земли. И живут на этой земле чужие нам люди, говорят на чужом языке и, вполне возможно, даже не представляют себе,

за что мы, коммунары Парижа, сражались и умирали на баррикадах!

Но сегодня, кажется, мы не войдем в гавань, ветер почти стих, «Виргиния» плывет все медленнее.

На западе, за далекую полоску земли, опускается багровое, словно выкрашенное кармином солнце. И белые островерхие паруса, едва различимые вдали, тоже становятся красными и удаляются, — видимо, рыбацкие суда, промышлявшие в море, возвращаются к причалам.

Предстоит долгая, тягостная ночь! Но я теперь легче переношу ночи: передаваемые Рошфором статьи помогают мне разобраться во многом, чего я раньше не понимала до конца.

Я ненавидела Наполеона Малого инстинктивно, как ненавидела бы любого деспота на его месте, но я не совсем ясно представляла себе, на чем держится его трон, как этот авантюрист ухитрился после Февральской революции сорок восьмого года получить на выборах шесть миллионов голосов? Неужели душа доверчивого французского парода все еще находилась в плену магической силы имени его знаменитого дяди?

Слышно, «Виргиния» становится на якоря.

Садится солнце, багровый сумрак наползает из углов. В коридоре между «острогами» конвоиры зажигают свет. За блеском ружейных штыков я различаю в клетке напротив Рошфора, Пласа и Мессаже, они тоже возбуждены близостью берега.

Тянется ночь...

Что ж, Луиза, нужно иметь мужество признаться: до восстания и даже во время Коммуны ты многого не понимала. И не ты одна! Ты и твои соратники, ослепленные первой победой, падением Империи и провозглашением Коммуны, совсем неясно представляли себе будущее. Если бы вы вели себя жесточе, если бы захватили ключевые позиции, победившая Коммуна не могла бы так нелепо погибнуть! Ваша главная беда состояла в том, что врагов своих вы мерили по себе, наделяя их благородством и великодушием, честью и совестью, всем, чего вы требовали от борцов Коммуны, что вносили в Коммуну сами. Вы были великодушны, наивны и доверчивы, как дети, а ваши враги... О, они были дальновиднее и жесточе!

Лежа без сна, глядя сквозь вертикальные прутья решетки на тусклый желтоватый огонек фонаря, мигавший за прокопченным стеклом, Луиза перелистывала в памяти странички прошлого, вглядывалась в вековые дали. Вся история Франции проходила перед ее мысленным взором — напыщенные, величественные Каролинги и Капетинги, Валуа и Бурбоны, бесчисленные Карлы и Людовики, нескончаемые династические войны, восстания и революции, жесточайшее их подавление: казни, казни, казни — костры, виселицы, палаческие топоры, пули и, наконец, гильотина. Прогресс! Вершина!..

Луиза почувствовала, что заснуть не сможет. Натцупав под соломенной подушкой переданную ей Рошфором пачку газетных вырезок, постаралась рассмотреть шагавшего

мимо камеры часового. Они, тюремщики, тоже разные — одни на своем дежурстве позволяют разговаривать и смеяться, напевать песенки времен Коммуны, другие накидываются с окриками и угрозами, требуя рабского подчинения тюремному режиму.

Осторожно, чтобы не потревожить спящих, Луиза пробралась к решетке. Нет, часовой не гаркнул, не приказал вернуться на место. Луизе даже почудилось, что он хотел о чем-то спросить ее, но, спохватившись, промолчал и прошагал дальше.

Рошфор передавал Луизе не только те газеты и журналы, в которых сотрудничал сам. В ее руки попадали статьи различной политической ориентации, начиная от махровых монархических до крайне левых, открыто звавших к борьбе. Два-три года назад Луиза, пожалуй, сочла бы такую «всеядность» Рошфора достойной осуждения, но после поражения Коммуны стала думать иначе: для борьбы с врагом необходимо его знать.

Правда, кое-что в поведении Рошфора все же не нравилось Луизе. Так, например, еще в Париже она знала, что он не раз переходил из лагеря республиканской прессы в лагерь «Фигаро» и других изданий не слишком-то чистоплотного дельца Огюста Вильмессана, а через какое-то время вновь возвращался на покинутые позиции. Поговаривали, будто в таких переходах Рошфора решающую роль играла сумма гонорара, которую приносила журналисту его деятельность... Но, кто знает, может, клевета? Кого из противников политические недруги не поливали грязью?

Вплотную прислонившись к решетке, чтобы на развернутые газетные полоски падало больше света, Луиза принялась вчитываться в ускользавшие от взгляда строчки.

Ага, это кажется о нем, о ее «любимой ненависти», о Луи Бонапарте, хотя сейчас его судьба почти перестала Луизу интересовать: пусть и не полностью, но узурпатор получил свое — немислимый позор и плен Седана! С какой предельной ясностью обнажилась вся ничтожность этого человека, возомнившего себя полубогом! Трон рухнул. «Человек с косыми глазами воображал, что он вечен, но стена между тем уже давала трещины, и наконец сквозь брешь Седана победоносно вошла революция!» — когда-то записала Луиза в свою памятную тетрадь... Но после Баденге на авансцену Франции повылезали новые ничтожества, поочередно объявлявшие себя спасителями государства и благодетелями народа: тьеры и трошю, мак-магоны и галифе!

И все-таки любопытно — что пишут о свергнутом узурпаторе? С трудом переводя взгляд от строки к строке, Луиза разбирала не слишком-то отчетливый типографский текст.

«Конституция назначила Бонапарту содержание в 600 000 франков. Не прошло и полугодя со времени его вступления на пост президента, как ему удалось увеличить эту сумму вдвое... После 31 мая Бонапарт... потребовал у Национального собрания гражданский лист в 3 миллиона франков в год».

А национальные гвардейцы Парижа получали по полтора франка в день, едва-едва хватало на хлеб и миску лукового супа. Их неработающие жены получали наполовину меньше — по семьдесят пять сантимов в день! И рабочие на фабриках и заводах зарабатывали не больше — те же сто пятьдесят сантимов, или тридцать су, — в восемь тысяч раз меньше, чем

требовал ежедневно за свои «труды» Баденге! Женщины получали вообще гроши. В конце рабочего дня валились с ног, падали в голодные обмороки. Не дожив до тридцати лет, многие умирали от истощения в больницах для нищих.

А собственно, Луиза, что изменилось после Баденге? Империя свергнута, снова во Франции республика, а разве народу легче, лучше? О нет, народ при Третьей республике мучается так же, как мучился при Второй империи. А тебя и твоих товарищей республика гонит на каторгу теми же путями, какими ваших предшественников гнала Империя, — в Кайенну и Каледонию! Ничто по изменилось, кроме вывесок, наименований и внешних атрибутов власти. За что же отданы тысячи человеческих жизней, за что пролито столько крови?!

Вспомнился Эмиль. Он часто вспоминался Луизе в эти годы, потому что был частицей, осколком бесславно сгинувшей империи, ее слугой и, если хотите, ее жертвой, пленником, не имевшим сил стряхнуть с себя ее липкую, ядовитую паутину.

Сейчас Луизе казалось странным, что она не сразу выставила за дверь этого прихвостня империи, украшенного орденами и аксельбантами, не спустила с лестницы, ведущей на ее мансарду. Ах, да, наивная и глупая, ты надеялась обратить заядлого бонапартиста в республиканскую веру, думала, что он станет поклоняться твоим божествам — Свободе, Равенству, Братству? Как же часто ошибалась ты в людях, Луиза, как много готова была прощать, обманывая и позволяя обманывать себя!..

Последний раз они с Эмилем разговаривали в комнатке Луизы, на улице Удо. Луиза возбужденно ходила из угла в угол, а Эмиль сидел в стареньком кресле у едва теплившегося камина, как всегда самоуверенный и самодовольный, поставив между колен свою офицерскую саблю и скрестив руки на ее эфесе.

— Ха, император! — презрительно усмехалась Луиза, щуря темные горящие глаза. — Полководец, завоеватель, слава Франции! А вы объясните мне, на кой черт нужна была Франции Мексиканская экспедиция? Зачем, во имя чего воевали в Китае, сражались с Россией? Что нам там было нужно? А сорок восемь часов бомбардировки беззащитного Рима! Да разве такое можно простить?!

Выпрямившись, Эмиль сидел неподвижно, но его внимательные глаза не отпускали Луизу, перебегали за ней от дверей к окну, от окна к столу. Когда она замолчала, Эмиль заговорил терпеливо и назидательно, как разговаривают с заупрямившимся и неразумным ребенком.

— Вы не правы, Луиза, вы рассуждаете как дитя. Крымская война с Россией вернула Франции былую славу. Севастополь, считавшийся неприступным, после триста сорока девяти дней осады вынужден был покориться. Это прекрасно! Россия по Парижскому договору затопила свои военные корабли и лишилась права держать в Черном море военный флот и иметь крепости! Вот так-с! Одним могущественным соперником у Франции стало меньше! Это реванш за Ватерлоо, за остров Святой Елены, за полувековое унижение!

Луиза стояла напротив Эмиля и в упор смотрела на него.

— А за что вашего Баденге высылали из Франции в Америку? За что заключили в крепость Гам, откуда ему волею случая удалось бежать? А?

Эмиль снисходительно пожал плечами.

— О, опять вы не понимаете главного, Луиза! Луи Бонапарт пытался вернуть себе трон, принадлежащий ему по праву наследования. А побег из Гама! Господи боже мой, да этот побег как раз и подтверждает преданность простого народа Луи Наполеону! Каменщик Баденге, рискуя быть жестоко наказанным, передает свою одежду царственному узнику...

— Ложь! Убеждена, ложь! — вскричала Луиза. — Вероятно, бедняга каменщик вынужден был продать одежду вашему «царственному узнику» за кусок хлеба для семьи! Или его куртку просто украли!

Эмиль устало вздохнул, откинулся на спинку кресла, всем видом показывая: как же бессмысленно спорить с женщиной!

— Ну хорошо, — продолжала Луиза, медленно приближаясь к креслу Эмиля. — А те десятки тысяч французских могил, что остались под Севастополем и Евпаторией, в Мексике и Индокитае? Те сотни женщин и детей, что погибли при бомбардировке Рима французскими пушками, — они ни к чему не зывают, Эмиль?! А осиротевшие во Франции ребятишки, разве они ничего не тревожат в вашем сердце? Каждый день я прохожу мимо церкви Сен-Жак и Нотр-Дам-де-Лорет. На их папертях вымаливают милостыню сироты тех, кто неведомо за что погиб в России, Китае, Мексике! Вы никогда не чувствовали ответственности за искалеченные жизни?! А?!

Казалось, она готова кинуться на собеседника, как кошка, как тигрица. Эмиль растерянно пожал плечами.

— Ах, Луиза!.. Вы не в силах подняться до патриотической...

— Молчите! — перебила Луиза. — Не оскверняйте таких слов, как патриотизм, отечество, родина! Вы со своим самозванным императором думаете прежде всего о себе, о собственных успехах, о наживе! Вы готовы, как шлюху, продать несчастную Марианну всякому, кто вам больше заплатит!

Привлеченная громкими голосами, в дверь обеспокоенно заглянула мать Луизы, и девушка постаралась взять себя в руки. Нервно прошлась по комнате. Эмиль неопределенно улыбался, бережно ощупывал отливавший брильянтином пробор.

— Ах, Луиза, — негромко и мягко заговорил он, явно ища примирения. — Вы — женщина, милая, обаятельная женщина, вам не дано судить о войнах. Войны — дело мужское. Не обижайтесь, не сверкайте глазами. Я представляю себе, как вам подойдет роль любящей матери, склонившейся над колыбелью. А войны — оставьте сие жестокое дело нам, мужчинам, Луиза. Поверьте, мы сумеем защитить ваши семейные очаги и обеспечим Франции такое высокое положение в мире, какое она заслуживает... Вы представьте себе... я возвращаюсь из похода, усталый, запыленный, и вы встречаете меня на крыльце с нашим

малюткой на руках...

Несколько секунд Луиза пристально всматривалась в холеное лицо Эмиля, потом, словно крадучись, подошла к креслу и, низко склонившись, шепотом переспросила:

— Нашим малюткой?! — И, запрокинув голову, безудержно расхохоталась. Но сейчас же подавила приступ неуместного веселья и тихо сказала: — Ну хорошо, Эмиль, я выйду за вас замуж, если вы выполните единственное мое желание...

Она видела, как краснело под ее взглядом чисто выбритое лицо, как наливались радостью смотревшие на нее глаза.

— Все! Все, Луиза! — восторженно вскричал он, вставая. — Говорите же! Я сделаю все!

Она отступила, непонятно медля с ответом. Он смотрел с нетерпеливым ожиданием.

— Хотя я и не очень жажду стать в будущем генеральшей, — со странной усмешкой протянула Луиза, — я обещаю выйти за вас замуж, если...

— Да говорите же! Говорите, Луиза! — повторял он, делая шаг к ней.

— Убейте императора!

Эмиль отшатнулся, словно его ударили, лицо покрылось меловой бледностью, пушистые усики обиженно задрожали.

— Вы... вы с ума сошли, Луиза! — едва шевеля губами и пятясь, прошептал он. — Какая жестокая... шутка...

— Это не шутка!

Не спуская с нее пристального и в то же время растерянного взгляда, Эмиль пятился к двери. И уже стоя на пороге, обретя мужество и достоинство, подобающие офицеру императорской гвардии, натягивая белые лайковые перчатки, посмотрел на нее последний раз — холодно и настороженно.

— Прощайте.

Отсчитывая ступени, позвякивали на лестнице шпоры.

А Луиза, не в силах сдержать гневное и яростное озорство, которое изредка овладевало ею, подбежала к двери и, держась руками за косяки, перевесилась на лестницу и крикнула в обтянутую мундиром спину:

— Если пойдете доносить, не забудьте: улица Удо! Дом двадцать четыре!

И вернулась в комнату. И сразу почувствовала странной бессилие, захотелось сесть, отдохнуть. Но сесть в любимое кресло, где только что сидел Эмиль, не могла. Присела к письменному столу, подперла голову руками...

...Лежа на соломенном матраце, прислушиваясь к монотонному плеску ночной волны за бортом «Виргинии», Луиза с усталой улыбкой вспоминала этот завершившийся скандалом «роман», вспоминала молодых чванливых шомонских буржуа, делавших ей лестные предложения — стать «вечной спутницей жизни». Эмиля она так и не встречала больше, хотя в дни Коммуны, во время майских боев, и могла бы встретить — по другую сторону баррикады. Забавно, не правда ли?..

И, уже засыпая, припоминала дерзкие шуточки, которые изредка позволяла себе... Еще в Шомоне, на парадном входе в дом важного имперского чиновника, папаши одного из ее «женихов», несколько раз, под покровом вечерней тьмы, рисовала мелом или углем огромную ослиную голову. Шум, поднимавшийся утром у респектабельного подъезда, доставлял ей прямо-таки наслаждение! Позже, в Париже, забавлялась тем, что украдкой рассовывала по карманам полицейских или досточтимых буржуа листочки с республиканскими стихами собственного сочинения, а однажды даже ухитрилась прицепить на спину ажану, явившемуся на улицу Отфейль, лист бумаги с надписью: «Долой полицию и Империю!» Правда, за последнюю выходку Теофиль серьезно побранил ее, — ну кому нужна дурацкая бравада, бессмысленный риск, который не убавит престижа и силы ненавистной Империи, а для Луизы может закончиться годами тюрьмы?..

Сонно, стеклянно плещется у бортов «Виргинии» вода океана, трепещет за решеткой тусклый огонек в фонаре, мерно звучат в коридоре шаги часового, изредка падают в тропическую тишину ночи медные капли колокольных ударов, — вахтенный матрос отбивает склянки. Тяжело дышат во сне и вздыхают женщины.

А дальше!.. После многих недель тропической жары Атлантики, после того, как далеко на севере остался мыс Доброй Надежды, повеяло холодными ветрами Антарктики. Единственная радость — прогулки по палубе — стала почти невозможна из-за холода, ледяные сосульки сталактитами висели на реях и вантах, на крьюс-брамселе и на брам-стенге. А Луиза давно уже раздарила свое «приданое Мак-Магона» другим арестанткам и теперь ходила на прогулку в драных полотняных туфлях на босу ногу. И даже капитан Лонэ не мог не обеспокоиться этим. Однажды, в то время как женщины гуляли на палубе, он спустился к клетке Рошфора и, запинаясь от несвойственного ему смущения, сказал:

— Она же погибнет, эта сумасшедшая! Но от меня она не примет ничего, я знаю. Передайте, мосье Рошфор, ей эти туфли от себя, дескать, их у вас забыла при прощании ваша дочь...

Да, Луиза два дня носила подаренные ей туфли, но на третий день Рошфор и капитан Лонэ увидели их на ногах мадам Леблан. Луиза же снова ходила в драных полотняшках на деревянной подошве и присылала Рошфору стихи:

“ Падают снег, хмуро катятся волны.
Мрачно небо, и воздух режет лицо, как лед.

Корабль скрипит под напором стихии,
И кругом полутьма, полусвет.
Люди страшатся, что их одолеет полярный хлад,
И в царстве льдов им вспоминаются родные песни,
Песни зеленых долин малой Бретани
И воинственные напевы минувших времен...З

Да, здесь, в южных широтах, дни тянулись еще тягостнее, чем в Атлантике. Но скоро конец утомительному плаванию, скоро — Новая Каледония! А пока...

Воспоминания, воспоминания, воспоминания...

Версия #1

Зверобой создал 23 июня 2025 22:54:01

Зверобой обновил 23 июня 2025 22:55:53